

## ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД РОМАНОМ «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»

### I. Хронология

Стр. 5.<sup>1</sup> *В начале июля...* — Вечером того же дня, когда начинается действие романа, Мармеладов в своей «исповеди» говорит Раскольникову: «...шесть дней назад я первое жалование мое (...) сполна принес» (6, 19). Поскольку узаконенным днем получения жалования в казенных учреждениях на всей территории Российской империи было первое число месяца (см.: *Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре.* СПб., 1994. С. 26; ср. в «Господине Прохарчине»: «...что сегодня первое число и что он получает целковики в своей канцелярии» (1, 249)), — приведенное наблюдение позволяет установить точную дату начала событий в «Преступлении и наказании» — 7 июля. Убийство старухи процентщицы, таким образом, происходит 9 июля. В этой связи показательно, что 9-м числом датируется преступление и в ранней, «висбаденской» редакции, но — не июля, а июня (см.: 7, 7, подстрочн. примеч. 3). 9-е число (без указания месяца) названо и в сохранившемся фрагменте второй редакции «Под судом» (см.: 7, 97).

Исходя из внутренней хронологии романа, несложно установить и дату явки Раскольникова с повинной, т. е. последний день романа (без эпилога): это 20 июля — Ильин день. «Вознесенье с дождем, Илья с грозой» — говорится про этот день в народе.<sup>2</sup> В «Сне Обломова» у Гончарова читаем: «Грозы (...) там (в Обломовке) бывают постоянно в одно и то же установленное время, не забывая почти никогда Ильина дня, как будто для того, чтобы поддержать известное предание в народе».<sup>3</sup> В точном соответствии с этой «народной метеорологией» в «Преступлении и наказании» в ночь накануне явки героя в полицейскую контору после двухнедельной страшной жары над Петербургом разражается сильнейшая гроза: «Вода падала не каплями, а целыми струями хлестала на землю. Молния сверкала поминутно, и можно было сосчитать до пяти раз в продолжение каждого зарева» (6, 384). Приуроченность грозы у Достоевского к Ильину дню делает более очевидным принадлежность этого мотива мифопоэтическому плану романа. Именно во время грозы в Раскольникове совершается решающий перелом. Об этом говорится так: «Костюм его был ужасен: все грязное, пробывшее всю ночь под дождем, изорванное, истрепанное. (...) Всю эту ночь провел он один, Бог знает где. Но, по крайней мере, он решился» (6, 395). В этой связи укажу еще на одно народное поверье — об очистительном значении «ильинского дождя», который «избавляет от очного призора и всякой вражьей силы».<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Здесь и далее указываются страницы т. 6 «Полного собрания сочинений» Ф. М. Достоевского в 30 т. (Л., 1972—1990).

<sup>2</sup> *Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1955. Т. 1. С. 41.

<sup>3</sup> *Гончаров И. А.* Обломов. Л., 1987. С. 81. (Сер. «Лит. памятники»).

<sup>4</sup> Сказания русского народа, собранные И. П. Сахаровым. М., 1989. С. 291.

Если внутренняя хронология романа выстраивается достаточно четко, то с прикрепленностью событий «Преступления и наказания» к определенному году дело обстоит гораздо сложнее. В исследовательской литературе утвердилось мнение, что время действия — 1865 г. (см., например: 7, 363). И сам Достоевский, излагая М. Н. Каткову осенью 1865 г. замысел своего будущего произведения, писал: «Действие современное, в нынешнем году» (28, 136). Л. П. Гроссман считал, что физиономия определенного года схвачена в романе настолько точно, что «Преступление и наказание» с полным правом «могло бы называться „1865 год“».<sup>5</sup> Для таких заключений текст произведения дает определенные основания. Некоторые детали почти демонстративно отсылали читателей-современников к событиям, которые еще совсем свежи были в памяти. Так, например, просматривая в трактуре «Хрустальный дворец» последние газеты, Раскольников читает: «...Ацтеки — Ацтеки — Излер — Бартола — Массимо — Ацтеки...» (6, 124). О прибытии в Петербург лилипутов Массимо и Бартолы, которые якобы являлись потомками королевского рода древних обитателей Мексики, газеты впервые сообщили 16 июня 1865 г.<sup>6</sup> Г. Ф. Коган в комментариях приводит газетное сообщение об ацтеках от 11 июля 1865 г. (см.: 7, 377). В первый день после болезни (в соответствии с приведенными расчетами — 14 июля), потребовав в трактуре «газет, старых, этак дней за пять сряду» (6, 124), Раскольников вполне «мог бы» читать именно его. И таких наблюдений можно привести не одно.<sup>7</sup> Но тем не менее, вопреки всем этим частным хронологическим приметам, в общей перспективе романа 1865 год как время событий оказывается нереальным, по-своему «фантастическим».

Эпилог «Преступления и наказания» писался в декабре 1866 г. и был опубликован в № 12 журнала «Русский вестник», вышедшем в свет 14 февраля 1867 г. В первом же абзаце о «ссылочно-каторжном второго разряда» Родионе Раскольникове говорится: «Со дня преступления его прошло почти полтора года» (6, 410). В этом пока еще нет противоречия. Больше того, применительно к первой главе Эпилога и времени знакомства с ней читателей это указание можно было бы признать точно соответствующим традиционным представлениям о хронологии романа. Но во второй главе время решительно устремляется вперед: «Он пролежал в больнице весь конец поста и Святую» (6, 419). Именно в околопасхальные дни, в госпитале, в бреду видит герой те страшные, апокалиптические сны, которые во многом и предопределили освобождение Раскольникова из-под власти его «идеи» и последовавший за этим переворот в его внутреннем мире. О времени, когда совершается

<sup>5</sup> *Гроссман Л. П.* Город и люди «Преступления и наказания» // *Достоевский Ф. М.* Преступление и наказание. М., 1935. С. 41.

<sup>6</sup> См.: Санкт-Петербургские ведомости. 1865. № 164.

<sup>7</sup> Встречаются в романе (скорее всего, по авторскому недосмотру) и единичные приметы 1866 г. В эпизоде, когда Лужин подкладывает Сонечке деньги, на столе у него разложены «серые и радужные кредитки» (6, 287). Однако среди кредитных билетов выпуска 1843—1865 гг. не было купюр радужной расцветки. Сторубльвые «радужные кредитки» впервые появились только в 1866 г. (до этого цвет их был светло-желтый). См.: Бумажные денежные знаки России и СССР. СПб., 1993.

этот переворот, автор сообщает: «Шла уже вторая неделя после Святой, стояли теплые, ясные, весенние дни» (б, 420). «...весенние дни». Если датировать время основного действия романа июлем 1865 г., то придется признать, что в декабре 1866 г. Достоевский писал, а в феврале 1867 г. подписчики «Русского вестника» читали о событиях, которым еще только суждено было совершиться лишь спустя несколько месяцев — в последнюю неделю апреля 1867 г., т. е. в будущем по отношению к реальному авторскому и читательскому времени.

Но как же быть с беспорядными приметами 1865 г.? Представляется, что и на время, временную организацию художественного мира «Преступления и наказания» необходимо распространить те характеристики, которые в исследовательской литературе уже давались для художественного пространства, художественной топографии романа. «Сложная картина нарушения реальной топографии Петербурга, — пишут исследователи, — создает специфический образ города в романе: с одной стороны, узнаваемый, конкретный район города, с другой — город-двойник, отраженный как бы в кривом зеркале, где улицы и расстояния не соответствуют реальным, а дома героев и их местонахождение подвижны, неуловимы».<sup>8</sup> Именно узнаваемость локальных петербургских реалий и одновременно необычный, причудливый характер, который зачастую приобретают их взаимные отношения, и создают особый «фантастический» колорит Петербурга Достоевского в «Преступлении и наказании». Приведенные наблюдения позволяют сделать вывод, что организация художественного времени в романе основывается у Достоевского во многом на тех же принципах: при обилии точных хронологических примет определенного года временные координаты действия романа в целом оказываются зыбкими, перереальными, по-своему также «фантастическими».<sup>9</sup>

Кстати, кажется, никем до сих пор не отмечено, что в организации художественного пространства «фантастического» Петербурга Достоевский следует лермонтовской традиции. Это упущение тем более парадоксально, что на связь топографии «Преступления и наказания» с незавершенной повестью Лермонтова «(Штосс)» («У граф. В... был музыкальный вечер») указывалось неоднократно. Так, Л. П. Гроссман, ставя в связь два эти произведения, пишет о лермонтовском герое: «Весьма примечательно, что Лугин поселяется в большом доме с грязной лестницей и множеством квартир в Столярном переулке у Кокушкина моста. Это точный адрес Раскольников» (Гроссман Л. П. Достоевский. М., 1962. С. 69; ср.: Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического. М., 1995. С. 223, 254). Однако маршрут Лугина, разыскивающего дом, в котором он затем поселяется, у Лермонтова не менее (если не более!) причудлив и

фантастичен, чем некоторые маршруты Раскольникова. Нарисовав вполне «достоевскую» картину Петербурга «у Кокушкина моста» («Мокрый снег падал хлопьями, дома казались грязны и темны, лица прохожих были зелены...» и т. п.), Лермонтов продолжает: «Через этот мост шел человек среднего роста (...) На мосту он остановился. То был Лугин. Следы душевной усталости виднелись на его измятом лице, в глазах горело тайное беспокойство. „ — Где Столярный переулок?“ — спросил он нерешительным голосом у порожнего извозчика, который в эту минуту проезжал мимо его шагом...». На вопрос лермонтовского героя возможен только один ответ: здесь! вот он! — ибо Кокушкин мост как раз и выводит прямо в Столярный переулок, который, непосредственно от него начинаясь, затем пересекает Малую и Среднюю Мещанские улицы и упирается в Большую Мещанскую. Но именно в «эту минуту» («перешед чрез мост Кокушкин») картина реального Петербурга начинает у Лермонтова «кривиться», «растягиваться», «скручиваться» — возникает «фантастическое искажение», принципиальное для поэтики повести. «Извозчик посмотрел на него, хлыстнул лошадей кончиком кнута и проехал мимо. Ему это показалось странно. Уж полно, есть ли Столярный переулок? Он сошел с моста и обратился с тем же вопросом к мальчику, который бежал с полуштофом через улицу (NB! Т. е. как раз через искомый Столярный переулок! — Б. Т.). „ — Столярный? — сказал мальчик, — а вот идите прямо по Малой Мещанской, и тотчас направо, первый переулок и будет Столярный”. Лугин успокоился. Дойдя до угла, он повернул направо и увидел небольшую грязный переулок, в котором с каждой стороны было не больше десяти высоких домов...» (Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: В 4 т. М., 1976. Т. 4. С. 339—340). Подсказанный мальчиком и — самое главное! — пройденный Лугиным маршрут совершенно нереален: идя им, герой, сделав причудливую петлю, окажется на том же самом месте у Кокушкина моста. Подобно поэтике произведений Достоевского, в лермонтовской повести натурализм описаний этих «серединных петербургских улиц» только усугубляет общий «фантастический колорит» происходящего. Можно также предположить, что и у Лермонтова и у Достоевского Столярный переулок и Кокушкин мост как «пограничные» топонимы (здесь читатель *вступает* в художественный мир их произведений) значимы как отсылка к гоголевским «Запискам сумасшедшего»: именно в Столярной, в доме Зверкова у Кокушкина моста, Поприщин похищает переписку собачек — и его безумие достигает своей первой кульминации.

## II. Петербургские реалии

Стр. 60. Проходя мимо Юсупова сада... — Заслуживает внимания то обстоятельство, что на убийство старухи процентщицы Раскольников идет тем же самым маршрутом, которым сам Достоевский летом 1865 г., незадолго до начала работы над «Преступлением и наказанием», неоднократно ходил к издателю-спекулянту Ф. Т. Стелловскому, принудившему писателя, находящегося в отчаянном финансовом по-

<sup>8</sup> Кумпан К. А., Конечный А. М. Наблюдения над топографией «Преступления и наказания» // Изв. АН СССР. Сер. лит-ры и яз. 1976. № 2. С. 190.

<sup>9</sup> Отмечу, что и взаимные отношения между конкретными временными приметам, подобно отношениям между реалиями топографическими, также оказываются достаточно причудливыми: так, петербургские читатели узнавали страшную бурю лета 1865 г., но в действительности она имела место не 20 июля, а разразилась в ночь с 29 на 30 июня, т. е. еще до начала событий романа.

ложении, к заключению, за очень незначительную сумму, кабального договора на издание собрания его сочинений. Маршрут этот начинался в Столярном переулке, где в 1864—1867 гг. Достоевский снимал квартиру в доме Алонкина (угол Малой Мещанской), шел через Кокушкин мост и затем — направо по Садовой, где в доме № 49 (кв. 36), на углу Екатерингофского проспекта (как раз против Юсупова сада) жил Стелловский.<sup>10</sup> Вспоминая об этом времени позднее, Достоевский писал: «К этому контракту принудил меня Стелловский силой, оставив на меня тогда (через Бочарова) векселя Демиса и Гаврилова и грозясь засадить меня в тюрьму, так что уж и помощник квартального приходил ко мне для исполнения» (29, 75). О том, что эти воспоминания не оставляли писателя и в процессе работы над «Преступлением и наказанием», между прочим свидетельствует и тот хорошо известный исследователям факт, что поверенного Стелловского, надворного советника И. П. Бочарова Достоевский вывел в романе в виде «судейского крючка» Чебарова, а его самого (Стелловский был купцом второй гильдии) упомянул под именем купца Шелопаева (см.: 7, 372, 373). Таким образом, можно предположить, что маршрут, которым Раскольников идет на преступление, у Достоевского не случаен и для самого писателя исполнен особых (отрицательных) личных воспоминаний. Подчеркну, что речь идет именно о маршруте Раскольникова, вернее, той его части, которая маркирована упоминанием Юсупова сада: повернув с Садовой на Екатерингофский проспект и пройдя мимо дома, где жил Стелловский, герой писателя направляется к Екатерининскому каналу, «канаве», к дому, в котором живет его жертва — чиновница Алена Ивановна.

Стр. 130. *Дом Починкова, номер сорок семь, в квартире чиновника Бабушкина...* — Адрес Разумихина также обнаруживает присутствие скрытого авторского автобиографического плана у некоторых петербургских топографических реалий романа. В районе, где происходит действие «Преступления и наказания», лишь несколько улиц имеют дома под № 47. Это Садовая, Вознесенский проспект, Гороховая и Екатерининский канал. Причем не все они в равной степени органично вписываются в общую картину событий. К «Хрустальному дворцу»,<sup>11</sup> где ведут разговор герои и куда Разумихин «забегает» прямо со своей квартиры, оставив там «дядю» для приема гостей, — ближе других, и значительно ближе, дом № 47 по Садовой. Его, видимо, и нужно предпочесть как адрес Разумихина.

Этот выбор подтверждается тем, что, выйдя из «Хрустального дворца», «Раскольников прошел прямо на —ский мост» (6, 131). «Прямо» с Сенной можно было пройти только на Банковский мост (как назывался в середине 1860-х гг. Демидов мост, соединяющий Конный и Демидов переулки). Там на его глазах пытается покончить с собой Афросиньюшка. А часом позже, после смерти Мармеладова, герой

<sup>10</sup> Всеобщая адресная книга Санкт-Петербурга. СПб., 1867—1868.

<sup>11</sup> «Хрустальный дворец», где затем также происходит встреча Раскольникова со Свидригайловым, в романе помещен «на —ском (Обуховском. — Б. Т.) проспекте, шагах в тридцати или в сорока от Сенной» (6, 355).

вновь оказывается на —ском мосту, «ровно на том самом месте, с которого давеча бросилась женщина» (6, 147). Здесь он принимает решение пойти к Разумихину: «Кстати: дом Починкова, это два шага. Уж непременно к Разумихину, хоть бы и не два шага...» (Там же). «Два шага» от Банковского (Демидова) моста — это вновь Садовая 47. Все остальные адреса изрядно дальше. Круг замкнулся.<sup>12</sup>

И если приведенные соображения верны и дом Починкова<sup>13</sup> находится у Достоевского по адресу Садовая 47, то, значит, писатель поселяет друга Раскольникова в одном доме со своим собственным другом Аполлоном Николаевичем Майковым.<sup>14</sup> И герои идут от Разумихина к дому Раскольникова в Столярном переулке тоже очень знакомым, привычным для Достоевского маршрутом.

Сделанные наблюдения над скрытым авторским автобиографическим планом романа дополняются аналогичными фактами, уже давно хорошо известными исследователям «Преступления и наказания». Напомню, к примеру, свидетельство А. Г. Достоевской о том, что маршрут Свидригайлова в ночь перед самоубийством, проходящий «по бесконечному —ому проспекту» (6, 388), т. е. Большому проспекту Петербургской стороны, — это тоже очень личный, знакомый самому писателю маршрут, которым он часто ходил в гости к своей младшей сестре Александре Михайловне Голеновской, муж которой владел домом № 69 в конце Большого проспекта П. С. (см.: 7, 397). Укажу дополнительно, что в доме сестры Достоевский навещал также своего младшего брата Николая, который проживал там в отдельной квартире (№ 12).<sup>15</sup>

Стр. 76. *Это был поручик, помощник квартального надзирателя...* — В исследовательской литературе, касающейся вопроса о прототипах героев «Преступления и наказания», получило широкое распространение неверное представление, вызванное ошибочным прочтением одного официального документа. 5 июня 1865 г. Достоевский получил повестку «От управления 3 квартала Казанской части» (к которому относился Столярный переулок, где в это время жил писатель), извещавшую, что «по случаю неплатежа (...) по векселям» «крестьянину Семену Матвееву Пушкину и присяжному стряпчему Павлу Лыжину» на завтра назначена опись его имущества. Повестка была подписана: «За надзирателя Макаров».<sup>16</sup> Поскольку героя своего романа Достоевский поселяет недалеко от себя, в том же Столярном переулке, то подписавшего повестку писателю Макарова комментаторы издавна называют прототипом деликатного квартального надзирателя Никодима Фомича (см.: 7, 370). Однако здесь имеет место недоразумение. Из «Памятной

<sup>12</sup> Адреса по Гороховой и Екатерининскому каналу также оказываются менее предпочтительными и по отношению к номерам Бакалсева на Вознесенском проспекте (см. ночные маршруты Разумихина в начале третьей части — 6, 154, 158).

<sup>13</sup> Имена владельцев домов, где живут герои романа, все без исключения вымышлены (Починков, Козель, Бакалсев; о Шиле см.: 7, 378).

<sup>14</sup> Всеобщая адресная книга Санкт-Петербурга.

<sup>15</sup> Там же.

<sup>16</sup> Гроссман Л. П. Жизнь и труды Ф. М. Достоевского: Биография в датах и документах. М.; Л., 1935. С. 149.

книжки Санкт-Петербургской губернии на 1865 год» легко узнать, что квартальным надзирателем 3-го квартала 2-й Адмиралтейской (с февраля 1865 г. — Казанской) части в это время был поручик Иван Николаевич Пикар, а подпоручик Алексей Алексеевич Макаров, лишь подписавший полученную Достоевским повестку «за квартального», был его младшим помощником. Поскольку, как следует из той же «Памятной книжки», должность старшего помощника была в 3-м квартале в 1865 г. вакантной, то, значит, именно подпоручика Макарова вспоминал позднее Достоевский, когда писал: кредиторы грозилась «засадить меня в тюрьму, так что уж и помощник квартального приходил ко мне для исполнения. Но я с помощником квартального тогда подружился, и он мне много тогда способствовал разными сведениями, которые потом пригодились для „Преступления и наказания“» (29, 75). Таким образом, если в подпоручике Макарове и можно предположить прототип одного из персонажей романа, что представляется вполне резонным, особенно в силу засвидетельствованной самим писателем некоторой его причастности к процессу создания «Преступления и наказания» (способствовал сведениями), — то, конечно же, не квартального надзирателя Никодима Фомича, а его помощника Илью Петровича, поручика Пороха.

### III. Герои

Стр. 396. ...к тому же и двадцать три года сказались. — Это единственное прямое указание на возраст Раскольникова. В рабочей тетради с набросками к роману Достоевский записал для себя: «В художественном исполнении не забыть, что ему 23 года» (7, 155). В этой связи нельзя не вспомнить известные слова заглавного героя любимой писателем трагедии Шиллера «Дон-Карлос, инфант испанский» (привожу текст в переводе М. М. Достоевского, 1844 г.):

...двадцать третий год —  
И ничего не сделать для потомства!  
(Д. II, явл. 2)

Достоевский редактировал перевод брата (см.: 281, 99), знал шиллеровские тексты наизусть. О том, что он прекрасно помнил приведенные слова Дон-Карлоса, свидетельствует их иронический перифраз в январском выпуске «Дневника писателя» за 1876 г. (Глава первая, § 1): «...не слышали ли вы про такие записочки: „Милый папаша, мне двадцать три года, а я еще ничего не сделал; убежденный, что из меня ничего не выйдет, я решил покончить с жизнью...“ И застреливается. Но тут хоть что-нибудь да понятно: „Для чего-де и жить, как не для гордости?“» (22, 5). О значении статьи Шиллера «Письма о „Дон-Карлосе“» для замысла «Преступления и наказания» убедительно говорила И. Л. Альми в докладе на Старорусских чтениях.<sup>17</sup> Стоит отметить, что

<sup>17</sup> См.: Достоевский и современность: Материалы IX Международных Старорусских чтений 1994 года. Новгород, 1995. С. 8—10, а также статью в наст. изд. С. 88—97.

существовала традиция, считавшая первоисточником тирады шиллеровского героя слова Юлия Цезаря, с горечью произнесенные им о себе по прочтении рассказа об Александре Македонском. Возможно, Достоевскому могло запомниться также следующее место из 4-й книги «Былого и дум» Герцена: «...он (Огарев. — Б. Т.) становился мрачнее и мрачнее и вдруг со слезами на глазах повторил слова Дон-Карлоса, повторившего, в свою очередь, слова Юлия Цезаря: „Двадцать три года, и ничего не сделано для бессмертия!“ Его это так огорчило, что он изо всей силы ударил ладонью по зеленой рюмке и глубоко разрезал себе руку» (Глава XXV). Таким образом, возраст Раскольникова — это, скорее всего, важная художественная деталь, которая способствует включению героя Достоевского в определенную культурно-историческую перспективу, подчеркивающую масштаб его притязаний.

Стр. 394—395. У запертых больших ворот дома стоял, прислонясь к ним плечом, небольшой человек (...). На лице его виднелась та вековая брюзгливая скорбь, которая так кисло отпечаталась на всех без исключения лицах еврейского племени. (...)

— Я, брат, еду в чужие края.

— В чужие края?

— В Америку.

— В Америку?

Свидригайлов вынул револьвер и взвел курок. (...)

— (...) коли тебя станут спрашивать, так и отвечай, что поехал, дескать, в Америку. — То, как обставлен у Достоевского уход Свидригайлова из жизни, — непонятные предсмертные слова, странный «официальный свидетель» пожарник-еврей и т. п. — издавна представлялось комментаторам романа загадочным, требующим для своей интерпретации дополнительного, внетекстового материала. Наиболее проницательные исследователи искали «ключи» к прочтению глубинного смысла эпизода на путях установления тех литературных и историко-культурных контекстов, в которые включен у Достоевского (через систему скрытых отсылок) рассказ о самоубийстве героя.

Так, А. З. Штейнберг истолковывает предсмертный диалог Свидригайлова с пожарником-евреем как введение в сцену мифологического мотива Вечного Жида, создание масштабной антитезы экзистенциального характера. Поскольку наблюдения Штейнберга не использованы в существующих отечественных комментариях к «Преступлению и наказанию», позволю себе привести обширную выдержку из его работы «Достоевский и еврейство», не все положения которой, однако, представляются мне бесспорными: «Если вспомнить, что у Достоевского, особенно в совершеннейшем из его произведений, нет ни одной сцены, ни одного образа, ни одного слова, которые не имели бы более глубокого, иносказательного значения, то это жуткое прощание Свидригайлова с жизнью представляется сперва как бы неразрешимой загадкой, которая, однако, легко разъясняется при первом же сопоставлении „идей“ Свидригайлова с собственным взглядом Достоевского на сущность еврейства. Свидригайлов возмущен до последней глубины идей вечности или бессмертия как дурной бесконечности, он восстает про-

тив вечного шага на месте, против вечного возвращения, и какая встреча могла бы нагляднее воплотить перед ним всю бессмыслицу существования ради голого существования, нежели встреча с от века призрачно существующим евреем, с Вечным Жидом! Подобно ручному „попугаю“, он твердит везде и всегда свое жалкое: „здесь не место“ — не место умирать, не место восстания против „закона“ жизни и его непреложности. Пусть призраки скорбно довольствуются таким отрицательным утверждением жизни — истинно живой предпочитает этому проклятию самосохранения полное самоуничтожение».<sup>18</sup>

Однако убедительно установленный А. З. Штейнбергом историко-культурный контекст, который действительно дает «ключ» к уяснению ряда важных деталей эпизода самоубийства Свидригайлова, далеко не объясняет всех загадочных деталей этой сцены. Поиск контекстов должен быть продолжен.

Один из ближайших контекстов, к которому отсылает Достоевский своего читателя, устанавливается, как кажется, без большого труда. Он также способствует возникновению контрастной параллели, но уже существенно иного характера. Речь идет о фиктивном самоубийстве одного из героев романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?» Лопухова: «разумный эгоист» у Чернышевского, лишь инсценируя самоубийство, на самом деле уезжает в Америку и, так разрубив «гордиев узел», возникший в их отношениях с Верой Павловной и Кирсановым, в финале обретает счастье с другой женщиной. Свидригайлов же поступает буквально противоположным образом: заявляя, что «поехал, дескать, в Америку», он пускает себе пулю в лоб. Так, отвлеченной умозрительности решений, принимаемых героями Чернышевского, в «Преступлении и наказании» противопоставлена «живая жизнь» (если так можно выразиться о ситуации самоубийства) в ее сложности и трагических противоречиях. (Замечу, что это далеко не единственный в романе случай полемики Достоевского с автором «Что делать?». Напомню, к примеру, шаржированное преломление теории «разумного эгоизма» в разглагольствованиях Лужина или резкие карикатурные черты в образе Лебезятникова, что готовит возникновение необходимых читательских ассоциаций и в этом эпизоде.)

Другой литературный контекст устанавливается, как кажется, также вполне определенно, но требует от исследователя более сложной интерпретации. Свидригайлов, перед тем как спустить курок, говорит, что он едет не только «в Америку», но и «в чужие края». У Пушкина, в незавершенном отрывке «Мы проводили вечер на даче...», который представляет собой вариацию сюжета «Египетских ночей», после стихотворного монолога Клеопатры: «...Ценою жизни ночь мою?» — следует диалог гостей и в нем речь ведется о «переделке» этого «египетского анекдота» «на нынешние нравы» (в духе «маркизы Жорж Занд, такой же бесстыдницы, как и (...) Клеопатра»), о возможности или несбыточности подобного «сюжета» в современной жизни. Сегодня, предлагает кто-то, женщина «может положиться на честное слово» мужчины. Завязывается спор:

<sup>18</sup> Русские эмигранты о Достоевском. СПб., 1994. С. 121—122.

«— Как это?»

— Женщина может взять с любовника его честное слово, что на другой день он застрелится.

— А он на другой день уедет в чужие края, а она останется в дураках.

— Да, если он согласится остаться навек бесчестным в глазах той, которую любит. Да и самое условие неужели так тяжело? Разве жизнь уж такое сокровище...? (...) Что жизнь, если она отравлена унынием, пустыми желаниями? И что в ней, когда наслаждения ее истощены?»<sup>19</sup>

Трагическая иронией своих предсмертных слов, которые как бы соединяют оба варианта развития событий: «застрелится» // «уедет в чужие края», — Свидригайлов по-своему включается в спор героев пушкинской повести. Так же, как «Америка» маркировала вариант поведения современного человека («по Чернышевскому», «чужие края» являются здесь знаком измельчавшей души современного человека иного типа, не способного к сильным душевным движениям, не способного «сдать жизнь на карту женской любви». Свидригайлов в своем предсмертном диалоге «словесно разыгрывает» обе эти линии поведения, своеобразно «моделирует» эти современные человеческие типы, с тем чтобы своим выстрелом тут же отвергнуть и преодолеть их, обнаруживая и утверждая таким парадоксальным образом свой нереализованный душевный потенциал, проигрывая в предсмертные мгновения, пусть в единственно возможной для него мрачно-иронической форме, этот несостоявшийся любовный «сюжет», героем которого, как открывается, он готов был стать.

#### IV. «Воздуху, воздуху, воздуху...»

Стр. 336. Эх, Родион Романыч, — прибавил он (Свидригайлов. — Б. Т.) вдруг, — всем человекам надобно воздуху, воздуху, воздуху-с... Прежде всего! — Эти загадочные, гипнотизирующие Раскольников слова Свидригайлова, затем еще дважды повторенные в романе, неоднократно привлекали внимание исследователей.<sup>20</sup> Возникающие в различных контекстах, произносимые разными персонажами (Раскольников: «Вчера мне один человек сказал, что надо воздуху человеку, воздуху, воздуху! Я хочу к нему сходить сейчас и узнать, что он под этим понимает» (6, 339); Порфирий Петрович: «Вам теперь только воздуху надо, воздуху, воздуху!» (6, 351)), слова эти не поддаются однозначному истолкованию. Скорее всего, в поисках «ключей» к их осмыслению необходимо выйти за пределы «Преступления и наказания» в литературный макроконтент эпохи. Приведу несколько наблюдений.

В романе И. С. Тургенева «Отцы и дети», познакомившись с нигилистической программой Базарова, его оппонент Павел Петрович Кирсанов так формулирует свое самое общее возражение (он обращается к Аркадию): «...без принципов, принятых, как ты говоришь, на веру, шаг»

<sup>19</sup> Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. М., 1975. Т. 5. Романы и повести. С. 446—447.

<sup>20</sup> См.: Белов С. В. Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»: Комментарий. 2-е изд. М., 1985. С. 202.

ступить, дохнуть нельзя. Vous avez changé tout cela (Вы все это переменяли, франц.) (...) Посмотрим, как вы будете существовать в пустоте, в безвоздушном пространстве...»<sup>21</sup> «...я не человека убил, я принцип убил!» (6, 211. Курсив мой. — Б. Т.) — так сам Раскольников определяет в романе сущность своего «идейного преступления». В таком контексте слова Свидригайлова о «воздухе» воспринимаются как прямая отсылка к спору героев тургеневского романа.

Замечательно также, что Свидригайлов (в отличие от Порфирия Петровича) говорит о необходимости «воздуху-с» «всем человекам», т. е. в том числе и о самом себе. Образ Свидригайлова в «Преступлении и наказании» выражает тот предел на путях разрушения религиозно-нравственных абсолютов, к которому изначально был устремлен Раскольников и достижение которого ему так мучительно недоступно. Тем более принципиальное значение приобретает свидетельство Свидригайлова о том, что в «безвоздушном пространстве» — в мире разрушенных абсолютов «человекам» невозможно жить: «Эх, Родион Романыч, (...) всем человекам надобно воздуху, воздуху, воздуху-с... Прежде всего!». Таким образом, в этих словах «ключ» и к глубинным мотивам самоубийства самого Свидригайлова.

Тот же самый призыв, обращенный к Раскольникову: «Вам теперь только воздуху надо, воздуху, воздуху!», — в устах Порфирия Петровича, т. е. в существенно ином контексте, приобретает новые смысловые обертоны. Прежде всего отмечу, что Порфирий говорит не об отсутствии воздуха (как Свидригайлов), но о его «порче»: «Вам, во-первых, давно уже воздух переменить надо» (6, 351. Курсив мой. — Б. Т.). Новые, появившиеся здесь смысловые акценты требуют для своей интерпретации поиска других литературных контекстов. Та апология «почвеннических начал», в которую включен здесь у Порфирия рассматриваемый мотив, ведет исследователя к публицистике Достоевского периода «Времени» и «Эпохи». Стоит лишь обратиться к статьям писателя первой половины 1860-х гг., как мы услышим тот же призыв: «Воздуху, воздуху, воздуху!» — в прямой связи с основами почвеннической идеологии. Еще в 1863 г. М. А. Антонович, резко полемизировавший с журналами братьев Достоевских, иронически спрашивал: «Что значит это пристрастие к одним и тем же метафорам и аллегориям — к почве, воздуху (...) и т. д.?» (цит. по: 20, 396. Разрядка моя. — Б. Т.). Показательно, что о «воздухе» здесь говорится в одном ряду и рядом с «почвой». Приведу пример. Пропагандируя «соединение наше с нашей родной почвой, с народным началом», Достоевский пишет: «Мы сознали необходимость этого соединения, потому что не можем существовать без него; мы чувствуем, что истратили все наши силы в отдельной с народом жизни, истратили и попортили воздух, которым дышали, задыхаемся от недостатка его и похожи на рыбу, вытасценную из воды на песок» (19, 6. Курсив мой. — Б. Т.).

О том, что метафора «воздуха» в устах Порфирия, в отличие от Свидригайлова, несет в себе не отвлеченное религиозно-нравственное, но конкретно-национальное содержание (впрочем, не исключаящее, а

напротив, предполагающее в том числе и религиозно-нравственные аспекты, — недаром Порфирий апеллирует здесь к раскольникову-бегуну маляру Миколке, который в стремлении «страдание принять» берет на себя вину за преступление Раскольникова), — свидетельствует дальнейшее развитие мотива, когда, отвергая для героя возможность бегства за границу, Порфирий Петрович говорит: «...с чем же вы убежите? Да и чего вам в бегах? В бегах гадко и трудно, а вам прежде всего надо жизни и положения определенное, воздуху соответственного; ну а ваш ли там воздух? Убежите и сам воротитесь» (6, 352. Курсив мой. — Б. Т.). Таким образом, тот «воздух», о котором здесь идет речь и который необходим Раскольникову, может быть обретен им только в России. По сути, словами: «Вам, во-первых, давно уже воздух переменить надо», если их прочесть в контексте «почвеннической» публицистики, Порфирий Петрович формулирует свое понимание героя, ставя Раскольникова в ряд «русских скитальцев», о первом из которых — Онегине и онегинской эпохе сам Достоевский писал в уже процитированной статье 1861 г.: «Мы (...) тогда (...) в первый раз, настоящим образом стали сознавать себя русскими и почувствовали на себе, как трудно разрывать связь с родной почвой и дышать чужим воздухом...» (19, 10). Именно к этому сознанию глубинных причин всего, что с ним произошло и происходит, и пытается привести Раскольникова Порфирий.

Предложенные прочтения не исчерпывают все смыслы, которые аккумулируются в романе в словах «воздуху, воздуху, воздуху». Как обнаружение существенно иной, потенциально присутствующей в них тенденции показательна реакция Разумихина, когда Раскольников говорит ему: «Вчера мне один человек сказал, что надо воздуху человеку, воздуху, воздуху! Я хочу к нему сходить сейчас и узнать, что он под этим понимает». «Разумихин стоял в задумчивости и в волнении и что-то соображал, — читаем далее. — „Это политический заговорщик! Наверно! И он накануне какого-нибудь решительного шага — это наверно! Иначе быть не может (...)“ — подумал он вдруг про себя» (6, 339—340).

Чем обусловлена эта неожиданная реакция Разумихина на слова Раскольникова? С одной стороны, конечно же, тем, что он хорошо знает Родиона, чувствует его мощный бунтарский потенциал. Но с другой стороны, видимо, для его восприятия мотива «воздуху, воздуху, воздуху» актуальны иные контексты. «Бывают такие времена в жизни народа, что в нем особенно чувствуется потребность выйти на свежий воздух, какое-то особенное недовольство настоящим, потребность чего-то нового», — писал Достоевский в 1862 г., размышляя о кризисных эпохах, об исторических катаклизмах в жизни страны, в статье «Два лагеря теоретиков» (20, 14). «Воздух», «потребность воздуха» — эта емкая метафора, в силу своей универсальности, оказывается способной нести в себе и иные смыслы, в том числе — идею освобождения от пут существующего порядка вещей, необходимости радикальных перемен. Больше того, для стороннего, отвлеченного восприятия, вне соотношения с ситуацией переступивших «черту» Раскольникова или Свидригайлова, именно эти смыслы скорее выходят на первый план. Так, очевид-

<sup>21</sup> Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М., 1981. Т. 7. С. 25.

но, и воспринял слова о «воздухе» не знаящий о преступлении друга Разумихин.

Раскольникову непонятен смысл слов Свидригайлова: он прояснится только с известием об его самоубийстве. Непонятен ему и смысл слов Порфирия Петровича (равно как непонятен первоначальный призыв Сони Мармеладовой: «Страдание принять и искупить себя им, вот что надо» (6, 323)). Заряженные различными смыслами, слова о «воздухе» сами по себе еще ничего не предрешают в судьбе героя. Они обращены к его духовной свободе, требуют его самостоятельного поиска, его самостоятельного решения.

## V. Библейские цитаты, перифразы, аллюзии

Стр. 18. *Его превосходительство Ивана Афанасьевича изволите знать?.. Нет? Ну так Божия человека не знает! Это — воск... воск перед лицом Господним; яко тает воск!..* — В произведениях Достоевского «слова подчас мудрее изрекающего их», — заметил М. С. Альтман.<sup>22</sup> В широком смысле это верное наблюдение означает, что художественная функция слова персонажа не только зачастую не сводится к тому субъективному смыслу, который вкладывает в него говорящий, но даже иногда вступает с ним в явное противоречие. Создающая каламбурную ситуацию «неуместная» цитация Мармеладовым 67-го псалма — яркий тому пример. В Ветхом Завете образ тающего воска употребляется исключительно с негативной семантикой: «...как тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Божия» (Пс. 67: 3; ср. Пс. 96: 5; Мих. 1: 4). Такое употребление этого образа знает и христианская средневековая традиция. См., например, цитацию этого же 67-го псалма в эпизоде изгнания бесов в «Житии Сергия Радонежского».<sup>23</sup> Таким образом, вопреки намерениям героя «хвала» начальнику в его устах невольно оборачивается «хулой», что, видимо, по замыслу Достоевского, более адекватно характеризует «его превосходительство», чем прямые славословия Мармеладова в его адрес (ср. позднейшие слова о нем Катерины Ивановны: «А этот генералишка сидел и рябчиков ел... ногами затопал, что я его обеспокоила...» — 6, 331). И именно исконным, первичным своим значением цитата из 67-го псалма, начинающегося словами: «Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, и да бегут от лица Его ненавидящие Его!», — включается в тот «метафизический контекст», который создается возникающей в финале исповеди Мармеладова картиной «Судного дня».

Стр. 58. *...казуистика его выточилась, как бритва.* — Редкий случай скрытой цитаты из Библии в авторском повествовании. Приведенные слова представляют собой перифраз 4-го стиха 51-го псалма: «Гибель вымышляет язык твой; как изощренная бритва, он у тебя, коварный!».

<sup>22</sup> Альтман М. С. Достоевский. По векам имен. Саратов, 1975. С. 231.

<sup>23</sup> Памятники литературы Древней Руси: XIV—ср. XV века. М., 1981. С. 308—309.

Стр. 116. *Если мне, например, до сих пор говорили: «возлюби», и я возлюблял, то что из того выходило? — продолжал Петр Петрович (...), — выходило то, что я рвал кафтан пополам, делился с ближним, и оба оставались наполовину голы, по русской пословице: «Пойдешь за несколькими зайцами разом, и ни одного не достигнешь». Наука же говорит: возлюби, прежде всех, одного себя... — Лужин утрирует и окарикатуривает вторую «наибольшую» заповедь Христа: «возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22: 39). Он также имеет в виду заповедь Иоанна Крестителя: «И спрашивал его народ: что же нам делать? Он сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай неимущему...» (Лк. 3: 10—11). Для идеологического романа Достоевского характерно, что даже такой ничтожный герой, как Лужин, пытается не обойти, но «взорвать» евангельскую мораль — обнаружить ее несостоятельность, ее противоречие «истинам» науки, «экономической правде», с одной стороны, и «народной мудрости» — с другой. В «большом диалоге» романа Петр Петрович претендует занять позицию оппонента Сони Мармеладовой: его «философия» явно нацелена на дискредитацию всех тех, чье жизненное поведение безусловно определяется любовью и состраданием к ближним. Так здесь в «теоретических построениях» Лужина травестируется один из важнейших идейных контрапунктов «Преступления и наказания».*

Стр. 307. *Потом мне тоже подумалось, что вы (...) хотите избежать благодарности и чтоб, как это там говорится: чтоб правая рука, что ль, не знала... одним словом, как-то этак... — Лебезятников пытается вспомнить слова Христа из Нагорной проповеди: «У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая» (Мф. 6: 3).*

Стр. 313. *И кто меня тут судьей поставил: кому жить, кому не жить? — Сонечка перефразирует евангельские слова Христа: «Он же сказал человеку тому: кто поставил Меня судить или делить вас?» (Лк. 12: 14) (слав. вариант: «...кто Мя постави судию...»).*

## VI. Словечки

Стр. 107. — «*А none где ночевал?*» — «*А на Песках, говорит, у коломенских.*» — Это свидетельство Миколки вызывает затруднение у комментаторов. Песками в Петербурге назывался район Рождественской части, примыкавший к Слоновой улице (с 1900 г. Суворовский проспект), идущей от Невского (за Знаменской площадью) к Смольному монастырю. Если допустить, что «коломенскими» Миколка называет жителей Коломны — петербургского района между Мойкой, Фонтанкой и Крюковым каналом,<sup>24</sup> — то возникает явное противоречие:

<sup>24</sup> В таком значении «коломенскими» названы, например, Лизанька (невеста Васи Шумкова) и ее семейство, действительно проживающие в петербургской Коломне, в повести «Слабое сердце» (см.: 2, 32, 45, 47 и др.).

«Пески и Коломна — совершенно разные районы города, — пишет С. В. Белов. — Таким образом, Миколка явно путается, отвечая на вопрос, где он ночевал».<sup>25</sup> Но такое толкование не принимает в расчет дальнейший ход событий: «Душкина задержали и обыск произвели, Митрея тоже; *пораспотрошили и коломенских*» (6, 107. Курсив мой. — Б. Т.). Значит, Миколка верно указал свое местопребывание в ночь после убийства старухи процентщицы. Видимо, поэтому позднее С. В. Белов ищет новое объяснение: «...скорее всего, речь идет об артели красильщиков из г. Коломны (Московской губернии), жившей на Песках».<sup>26</sup> Но и это маловероятно. Известно, что сам Миколка — «зарайский», из Зарайского уезда Рязанской губернии. И Порфирий Петрович во время следствия многое о нем «от зарайских его узнал» (6, 347). Так что подмосковная Коломна здесь также вряд ли к месту. А вот зарайский «след» как раз помогает прояснить картину.

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. Даля (М., 1955. Т. 2. С. 138) у слов «колóмень» и «колóменье» с пометой «*ряз.*» (рязанское) дается значение: «соседство». В «Словаре русских народных говоров» (Л., 1978. Вып. 14. С. 170) у слов «колóмень» и «колóменье» дополнительно (и также с пометой «*ряз.*») дается значение: «ближайшая округа». И хотя прилагательное (в том числе и прилагательное субстантивированное) «коломенский» ни одним областным словарем не зарегистрировано, его «зарайская маркированность» в «Преступлении и наказании» позволяет рассматривать его как производное от приведенного существительного «коломень» с общей семантикой: «находящийся (живущий) около, по соседству; сосед». В контексте романа, в устах Миколки, «коломенские», видимо, должно значить — «из нашей округи, из наших мест, земляки», т. е. тоже зарайские. Это, кстати, косвенно подтверждает и Порфирий Петрович, который, как указывалось, «пораспотрошив коломенских», затем говорит: «от зарайских его узнал», т. е. фактически отождествляет тех и других.

<sup>25</sup> Белов С. В. Роман Достоевского «Преступление и наказание»: Комментарий. Л., 1979. С. 129.

<sup>26</sup> То же. 2-е изд. С. 127.

## ЭПИСТОЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ИЗ ЖЕНСКОГО «ЭПИСТОЛЯРНОГО ЦИКЛА»  
АРХИВА ДОСТОЕВСКОГО (А. О. ИШИМОВА,  
О. А. НОВИКОВА, М. А. ПОЛИВАНОВА)

(Подготовка текстов и комментарии С. А. Ипатовой)

Значительную часть обширной читательской корреспонденции к Достоевскому занимает своеобразный эпистолярный цикл — женские письма, полученные в основном в период издания «Дневника писателя» 1876—1877 гг., вдохновившего большинство корреспонденток обратиться к Достоевскому лично. С одной стороны, этому явлению во многом способствовал сам тип издания, провоцирующий к дружескому диалогу, что, безусловно, предполагалось писателем изначально, — искренний, дневниковый, исповедальный характер повествования, взволнованное обсуждение так называемых «последних», «проклятых» вопросов, авторская установка — предположение в читателе серьезного и сочувствующего оппонента, готового откликнуться и продолжить тему — все это не могло не вызвать необычайного ответного доверия и упования современниц. С другой стороны, именно женская среда и реальный общественный контекст, породивший основной женский и сопутствующие ему вопросы, являли ту благодатную (но не единственную) читательскую почву, на которую «Дневник» Достоевского мог быть оптимально рассчитан.

Социальный и тематический диапазон этого эпистолярного цикла необычайно широк. Корреспондентки писателя, убежденные, что творческая мощь Достоевского способна разрешить не только «вечные» и важные общественно-нравственные вопросы, волнующие их вслед за писателем, но и частные, житейские, сугубо личные, повествуют о своих любовных драмах и семейных проблемах, просят быть руководителем в жизни и литературе, поверяют сомнения в выборе жениха и места учебы, ищут советов, ждут сердечного утешения и наставления. Однако при всей тематической разности этих писем объединяет их искренность, доверие и восторженное отношение к писателю, страстное желание посылить участвовать в решении общенациональных проблем, в общественной и личной эмансипации — осмыслить себя как личность и свое место в жизни. «„Дневник писателя“ дал мне средство ближе видеть русскую женщину; я получил несколько замечательных